



Бунин И. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 2. Произведения 1887 — 1909 г.
/ Коммент. В. Титовой //Художественная литература, М., 1987
FB2: WZ (WW_ZZ), 5 октября 2019, version 1.0
UUID: 41511DC5-F658-4435-B6F7-46F0FF514D8C
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

Мелкопоместные

Содержание

#1	0005
Комментарии	0071

Иван Алексеевич Бунин
МЕЛКОПОМЕСТНЫЕ
Из жизни елецких
помещиков
Очерки

Еще в комнате было тепло и душно, как в бане, еще в замерзшие окна не брезжил свет, когда Софья Ивановна проснулась и сейчас же перелезла через спящего мужа, зажгла свечу, накинула платок и пошла в девичью.

Зачем она проснулась, зачем вскочила тотчас же, как открыла глаза?.. Все это было бы крайне необычно, как несвойственное характеру и привычкам Софьи Ивановны, если бы не было особых причин.

Причины были, с одной точки зрения, очень незначительные, а с другой — очень важные... Короче, наступал праздник Знаменья, который справляется прудковскими помещиками три дня, и Софья Ивановна еще с вечера беспокоилась за судьбу двух громадных горшков с тестом, стоявших в девичьей на лежанке: тесто могло уйти!

И оно ушло бы, если бы Софья Ивановна, следуя своему обыкновению, полежала в постели; когда она вошла в девичью, горшки, завязанные белыми скатертями, сильно увеличились; тесто взошло «пышно» и росло с каждым мигом.

— Катерина, а Катерина! — окликнула Со-

фья Ивановна женщину, спавшую на лавке около лежанки.

— Что-что-что? — быстро забормотала Катерина, вскакивая с закрытыми глазами.

— Будет, пожалуйста, притворяться-то, — возразила на это Софья Ивановна медленно и недовольно.

— Ушли? — испуганно открыла глаза Катерина.

Софья Ивановна сунула свечу на лежанку и начала развязывать один из горшков. Катерина глянула на них, сообразила, что все — благополучно, и сделала мутные, злые глаза на барыню. Но сидеть было нечего. Пришлось снова изменить физиономию в озабоченную и разваливать тесто...

Свеча нагорела, и ее свет то дрожал длинным языком, то упал до краев подсвечника; по потолку двигались две тени, а на лежанке немилосердно, но с каким-то тактом шлепали и трепали тесто две безмолвные фигуры. Трудно было с первого раза угадать, какая из них барыня и какая холопка: у обеих то и дело закрывались мутные глаза, обе сопели и обе были в «русском стиле», с тою разницею,

что холопка была больше толста в кострецах, а барыня походила на этюд из «Нивы» — «Русская красавица времен царя Алексея Михайловича» и была мягка и рыхла вся...

Прежние сочинители, желая познакомить читателя с героями и обстановкой своих рассказов, прибегали к очень нехитрому приему: написавши одну или две главы, они или укладывали своего героя спать, или заставляли его погрузиться в думы, или просто сажали обедать и обращались к читателям: «Пока мой герой предается этому занятию, познакомимся с ним поподробнее. История его не сложна: еще на третьем году потерявши мать» и т. д.

Увы! на этот раз приходится и мне прибегнуть к такому же приему и, пока Софья Ивановна треплет тесто, «прервать нить рассказа» и уклониться в сторону...

Прежде всего должен сказать, что мы — в усадьбе помещика Капитона Николаевича Шахова, в сельце Прудках, центре того района мелкопоместных, в котором мы пробудем Знаменские праздники. Капитон Николаевич

слывет в этом районе богачом и замечательным хозяином. История его богатства следующая: лет пятьдесят до начала нашего повествования на том месте, где теперь находится устроенная в новом вкусе усадьба Капитона Николаевича, стоял под соломенной крышей деревянный дом, почерневший от дождей и времени. Каретный сарай был во многих отношениях похож на дом, амбары веяли пустою, сад, находящийся за домом, был запущен, и на гумне мыши доедали несколько гнилых темных скирдов. Хозяином всего этого был вдовец — Максим Корнеевич Маховский, отставной гусар, толстый, здоровый мужчина с сивыми усами, внушительным носом и удалым коком на голове. Поселившись в деревне, он в первый же день отправил свою дочку Тоню к тетке в ученье, запил, надел халат и стал ежеминутно требовать трубку. Хозяйство его заключалось только в том, что он, например, менял проезжим цыганам заводского жеребца на тройку кляч или приказывал «отсадить» голову петуху, который вздумал заорать под окном его кабинета... Естественно, что небольшое именье вкоре

разрушилось чуть не до основания и все крепостные были давным-давно на воле. Неизвестно, какая судьба постигла бы и двести десятин, принадлежащих усадьбе, если бы про них не узнал Николай Матвеевич Шахов, сын небогатого ливенского помещика, служивший в дворянской опеке регистратором. Николай Матвеевич был большой любитель стихов Веневитинова и истории войны 1812 года, но юноша — дельный. Не знаю, право, как он познакомился с Максимом Корнеевичем, знаю только то, что он вскоре бросил службу, стал супругом Тони, полненькой шестнадцатилетней девицы, знавшей почти наизусть «Евгения Онегина» и игравшей на клавинофордах лянсье и «Полонез» Огинского, и поселился в Прудках, полным хозяином маховской усадьбы, потому что старик Маховский надумал на «княжом пиру», после свадьбы своей дочери, пуститься в цыганскую пляску и рухнул на месте от удара...

Новая жизнь потекла в маховской усадьбе. Николай Матвеевич бросил стихи, водворил на местожительства гулявших на свободе крепостных и начал тихое, скупое хозяйство.

Головы петухам стали «отсаживать» только в том случае, если они грозили бедою, то есть кричали курами, водку покупали только на светлый праздник, и то в одном экземпляре, то есть в количестве полуштофа, трубки, сапоги со шпорами, туфли и халат покойного Маховского продали проезжему венгерцу и т. д. Словом, Шаховы стали жить настолько просто и скупо, что даже при гостях зажигали одну сальную свечку и ограничивали угощение жиденьким чаем с кислым молоком и несколькими штукаами кренделей, которые легко можно было принять за находки каменного периода, если бы легкий запах керосина не доказывал, что они приобретены на большой дороге, в харчевне мещанина Дрыкина.

Только против детей Шаховы ничего не имели, не ведали про новейшие негодяйские средства, предупреждающие деторождение. Антонина Максимовна рожала чуть не каждый год, извлекая из этого еще существенную пользу, то есть тупея и расплываясь с каждым днем. Дети, впрочем, рождались все мертвыми, пока, наконец, деятельность Антонины Максимовны не закончилась одним

живым младенцем мужского пола — Капитоном.

Николай Матвеевич сам приготовил сына в первый класс гимназии, свез его в город, и Капитон сдал экзамен. К несчастью, это был последний экзамен в его жизни: когда Николай Матвеевич подъехал к крыльцу своего маховского дома и навстречу ему с громадными усилиями появилась супруга, из-под козел укладистого рыдвана вылез и Капитоша. Николай Матвеевич и Антонина Максимовна остолбенели... Но это решило судьбу Капитоши: Антонина Максимовна уже не «дала ребенка на муку» во второй раз, и «ребенок» остался навеки в Прудках...

«За днями дни мелькали чередою», как бы сказал поэт Льдов, и оставляли свои следы: Николай Матвеевич поседел, стал носить туфли, стал очень небрежно относиться с застегиванью некоторых частей костюма и все более и более отдаваться тихому изучению номеров «Сына отечества»; Антонина Максимовна уже не выходила из своей спальни, где вечно сидела на кресле, ежеминутно засыпая от ожирения, и только изредка кричала на

девку, если та медлила подать ей полоскательную чашку и нюхательного табаку для чистки зубов...

Капитоша превратился в долговязого юношу, который уже начал хозяйствовать и отдавать дань молодости, то есть по вечерам пропадать по улицам, охотиться с товарищами и участвовать в избиении лесных сторожей, которые препятствовали охоте. Но с годами он стал серьезнее и наконец превратился в солидного, полного господина — хозяина маховской усадьбы. Старики Шаховы недаром вели скопидомную жизнь: у Капитона Николаевича оказалось в руках совершенно чистое от долгов имение и деньги. Поездки в город на мировые съезды, «по делу о нанесении побоев отставному унтер-офицеру такому-то сыном дворянина Капитоном Николаевичем Шаховым», оказали на последнего благие результаты: он «понатерся» в обществе и стал много цивилизованнее своих родителей. Короче сказать, «отдав дань молодости», он женился на дочери соседа-помещика, Софье Коноплянниковой, которая приехала в деревню на каникулы после неудачного экзамена в пя-

тый класс гимназии и попала замуж; затем покрыл дом железом, построил новые амбары, новую ригу, вырубил почти весь сад и засадил его дичками яблонь, увеличил севообороты, свел знакомство с елецкими офицерами, банковскими нотариальными дельцами, выписал «Ниву» и аристон и начал принимать гостей, угощая их уже не кренделями, а портвейном и кильками...

Но не стану вдаваться в подробности новой жизни в маховской усадьбе: читатель увидит ее, если возьмет на себя труд побывать со мною на Знаменском празднике, начало приготовлений к которому мы уже видели в хлопотах Софьи Ивановны и Катерины с тестом.

Не успела еще Софья Ивановна покончить с тестом, как на дворе зазвенел колокольчик, и через минуту в передней хлопнула дверь, раздалось «фу-ты, господи» и шум сваленной на сундук шубы. Софья Ивановна глянула и, так как девичья соединялась с передней коридором, увидела в последней Ивана Ивановича.

— Кума! — крикнул тот весело и бросился бегом в девичью.

Софья Ивановна сконфузилась своего туалета (она была еще в юбке и платке, накинутом на плечи) и скрылась в спальню. Но Иван Иванович был свой человек: он настиг ее в спальне, расшаркался и схватил ее руку.

— Иван Иванович! В тесте... — крикнула Софья Ивановна.

— Тем лучше — пироги раньше всех, значит, попробую, — с хохотом возразил Иван Иванович и поцеловал-таки руку.

— Что за шум, а драки нету? — крикнул Капитон Николаевич с постели.

Иван Иванович сделал комически испуганную физиономию.

— Батюшки, супруг!

— Сейчас же требую удовлетворения! — воскликнул Капитон Николаевич.

Иван Иванович скорчил еще более комическую физиономию.

— Да неужто ты не удовлетворен? — спросил он, делая ударение на последнем слове, и раскатился громким, откровенным хохотом.

— И бесстыдник же этот Иван Ивано-

вич! — улыбаясь, сказала Софья Ивановна и, схватив юбки и башмаки, ушла в кабинет.

Продолжая смеяться, Иван Иванович пожал руку Капитону Николаевичу и сел около него на кровати.

— Что это ты, черт тебя знает, — ни свет ни заря как снег на голову? — спросил Капитон Николаевич, ощущая в глубине души некоторое удовольствие от того, что он друг Ивану Ивановичу и может с ним говорить «по-товарищески», то есть ругаться и фамиллярничать.

Иван Иванович был совершенно такого же мнения о товариществе и ответил тем же тоном:

— Вздуть тебя, скотину, приехал.

— За что?

— «Старое зашло»... «Не ходи одна, ходи с тетенькой»...

— В самом деле, по какому обстоятельству?

— А то по какому же... все по этому...

— Ну, ты нынче, должно быть, всю дорогу «совершенствовался».

— Как «совершенствовался»?..

— Ах да, ты ведь не знаешь... Крутиков

уморил нас со смеху. Ездили мы недавно за «косолобыми»...[1]

— Да разве он у тебя был?..

— Был... с Лызловым...

— Вот скоты — мне и ни слова.

— Да ну, слушай же... Я по дороге забрел в Новоселки — нужно было к мировому, — а они сказали, что проедут в Коровий Верх. Только, понимаешь, выхожу от мирового, глядь — лошадки мои стоят смирехонько около Ивана Михайлова, а они, голубчики, второе «горлышко откусывают». «Вы зачем сюда?» — «Дурак ты, — говорит Крутиков, — неужто ты не знаешь, что Толстой проповедует совершенствование»? Вот мы и совершенствуемся...»

Оба захохотали, закурили, и беседа снова потекла в том же духе.

— Однако, брат, мне вставать надо, — озабоченно сказал Капитон Николаевич.

— Ну и отлично, — согласился Иван Иванович, — я спать хочу. Только сперва надо... усовершенствоваться. Отперт?

— Отперт.

Иван Иванович пошел в коридор, отворил

шкаф, взял графин с водкой и рюмку и появился на пороге спальни.

— Видишь ты это? — подымая графин, спросил он Капитона Николаевича, который надевал валенки.

— Вижу.

— Ну, так больше уж никогда не увидишь!..

И Иван Иванович налил себе рюмку, взял ее края в рот и, без помощи рук, ухарски мотнул головою назад.

— Здорово! — сказал Капитон Николаевич.

Иван Иванович сплюнул, опять налил рюмку и повторил тот же фокус.

— Задохнешься! — крикнул Капитон Николаевич.

— Жив не буду, если не выпью весь графин.

И опять та же операция...

А через десять минут он уже храпел на кровати, уткнувшись головою в подушку...

Иван Иванович был очень счастливый субъект. Он служил в Ельце у нотариуса, дело свое знал хорошо, так что, кроме тридцати

пяти рублей жалованья, имел еще хороший посторонний заработок: брал на себя роли поверенного по судейским делам, принимал хлопоты по закладу в банк имений и так далее, чтобы не сказать более... От всего этого у него набиралось до ста рублей в месяц, а это было очень недурно, если принять во внимание прежнее положение Ивана Ивановича: в ранней юности он был ни более ни менее как мальчик на услугах при какой-то библиотеке в Орле и звался Ванькой. Теперь же он — секретарь нотариуса, имеет квартиру в три комнаты, с отоплением, с мебелью и даже с украшениями в виде олеографий, почти... женат, завел себе рабочий кабинет, в котором стоит письменным дубовый стол, а на столе — две фигуры гипсовых китайцев, прекрасная чернильница, две сотни визитных карточек и портфель с бумагами; купил себе ружье, длинные сапоги, достал даже громадного, кудрявого водолаза и зовет его Бисмарком. Что касается самого Ивана Ивановича, то он пополнел, стал откормленно-солидным мужчиной, носит на своих больших ногах модные штиблеты и такие же брюки, куцую визитку

и — почти всегда — накрахмаленную рубашку с стоячим воротником и толстым широким галстуком. Правда, этот костюм не очень красив на плотной и здоровой фигуре Ивана Ивановича, но Иван Иванович разного мнения со мною в этом случае. Про себя вообще он думает как про красивого веселого мужчину («душа общества», «славный малый»): ему нравится свое полное, молодое, наглое лицо, под гребенку остриженная голова и даже манеры, походка; ходит он немного подаваясь вперед, постоянно заложив руки в карманы, то есть вообще небрежно и свободно двигаясь, как на лыжах, в своих модных штиблетах; везде хохочет, везде напеваает «чудные девы, девы мои», друг-приятель со всеми офицерами в Ельце и более зажиточными мелкопоместными, охотится, разъезжает с ними по вечерам, после театра *dahin, dahin*[2] (по его выражению), — словом, живет в свое удовольствие...

И том же роде и многие другие приятели и «просветители» Капитона Николаевича из «цивилизованной», городской компании.

Капитон Николаевич в глубине души жаж-

дет завести знакомство с более солидными людьми, с богатыми помещиками, но елецкие богатые помещики — народ, понимающий о себе очень высоко. Поэтому-то и существуют в Елецком уезде два совершенно отдельных друг от друга типа помещиков: помещики мелкопоместные живут еще очень просто, сидят по целым месяцам в своих усадьбах, никогда не «гласят» в земстве, и только некоторые из них, вроде Капитона Николаевича, стремятся зажить по-новому, свести знакомство с городом, и, к несчастью, это знакомство ограничивается господами вроде Ивана Ивановича. Другое дело помещики, имеющие от трехсот до тысячи десятин. Прежде всего — большинство из них народ картавый... Вы думаете, что я говорю глупости? Ничуть. Я передаю только факт, по-моему характерный: не выговаривать буквы «р» считается за особый шик! Иначе как же объяснить то, что я, бывши недавно на земском заседании, насчитал из двадцати четырех гласных восемнадцать человек картавых?

Затем они очень часто появляются в городе, состоят постоянными клиентами парик-

махеров, тогда как мелкопоместные подстригаются дома; сидя у парикмахера Николаева, любят, чтобы мастер им рассказывал городские новости о театре, об актрисах и так далее; злоупотребляют в гостиницах питьем сельтерской воды; если и носят поддевки, то ради шику — с серебряным поясом, при лакированных сапогах; любят изображать из себя дельных образованных земледельцев; выписывают, кроме других газет, сельскохозяйственные, «держат охоту», верховых лошадей — словом, стараются всегда, хоть в мелочах, быть помещиками, любя и соединяя кое-что из прежней помещичьей жизни (увы, немного, то есть «держат охоту», ездить в город на своих тройках и т. п.) с новыми обычаями — ездить на выставки, толковать о «порядочности», о Толстом, о модных политических новостях, о практичности американцев, о школах, о земских больницах, участвовать в любительских спектаклях, картавить, говорить: «вы дугак» лакеям и т. д. и т. д.

Вот, скажете вы, «нагородил» человек мелочей. Что делать! Может быть, и сказал что-нибудь верное...

Пока Капитон Николаевич пошел по хозяйству, то есть покричать на работников, чтобы те скорее поили лошадей, и отодрать вихры пастушонку, очень похожему, по словам кухарки, на «лупоглазого дьяволенка», за долгое спанье, — Софья Ивановна страшно хлопотала: она уже сбегала и выдала на кухню мяса, поросят и даже жирного индюка (ждали, что приедет один из важных гостей — «картавый», то есть настоящий помещик), велела переставить по-новому мебель в гостиной и, наконец, села в кабинете, перед письменным столом, чтобы написать несколько записок, содержание которых наизусть знает еще с детства каждый прудковский помещик, потому что, чередуясь в справлении праздников, каждый из них писал соседям такие записки.

Поэтому Софья Ивановна недолго сидела в глубоком оцепенении, как это обыкновенно бывает с нею в затруднительных случаях сочинения писем. Она искала бумаги, и так как таковой, по обыкновению, не оказалось, то она, тоже по обыкновению, взяла с этажер-

ки первую попавшуюся книжку сельскохозяйственного содержания, выдрала из нее чистые листы, находящиеся непосредственно после переплета, и начала писать:

«Многоуважаемая Анны Ванна!
Я и все наше семейство прошу вас сегодня к нам на пирок и обед и пришлите пожалуйста тарелки пол дюжены ножей вилок и сковородочку для хворостиков, чем премного обяжете уважающею вас **С. Шахову**».

Это письмо было адресовано к соседке, которая имела то преимущество пред прудковскими помещиками, что обладала громадным количеством различной посуды и кухонных принадлежностей.

Следующая записка была к потомку мещанина Дрыкина, о котором мы уже упоминали, — именно к содержателю винной лавки на большой дороге:

«Прошу отпустить 1/2 ведра вотки для людей и 5 селедок».

Подписи не было, ибо ее заменил каучуковый штампель, на котором значилось: «Экономия Капитона Николаевича Шахова».

Подумав некоторое время, Софья Ивановна написала еще одну записку:

«Любезный брат Уля приезжай сегодня со всеми вашими, привези гитару и немецкую гармонию, а также стихи Яков Савелича, а если есть коробку сардин, у вас осталось от Илина дня, а то у нас может не хватить, чем премного обяжешь
Любящую тебе **С. Шахову**».

Едва успела Софья Ивановна упомянуть имя Якова Савельевича, дальнего родственника Капитона Николаевича, как па дворе показался сам Яков Савельевич. Он шел по двору, неловко отбиваясь от собак палкою.

Это был человек очень странного вида. Он был уже стар, но трудно определить — скольких лет. Невысок ростом, худ, но не болезненно худ, а, что называется, жилист, немного су-

туловат; физиономия — далеко не красивая: усики словно щипаные, жесткие, нос — как у Данте, над маленькими подслеповатыми глазками важно и недовольно сдвинуты редкие брови, такие же жесткие и неопределенные по цвету, как и усы... На голове у Якова Савельевича был измятый летний картуз, на теле — старая ватная поддевка и широкие, легкие шаровары, которые не были запрятаны в сапоги, а болтались над огромными старыми штиблетами, обутыми ни босую ногу.

Софья Ивановна сама отворила ему дверь и, увидев его, посиневшего от холода, всплеснула руками:

— Яков Савельич! Откуда вы? Даже посинели все!

Яков Савельевич, хотевший было поздороваться с нею, остановился.

— Как это посинел? — спросил он своей обычной скороговоркой.

— Да как же — синий весь!

— Синий! синий! — передразнил он недовольным тоном. — Не понимаю, какое вам до этого дело: посинейте вы хоть с ног до головы, я и не по думаю на вас ахать и охать.

Софья Ивановна, давно знавшая характер Якова Савельевича, с улыбкой покачала головой:

— Господи! сердит-то как стал!

— Я, мать моя, родился таким, — бормотал Яков Савельевич, стаскивая с себя поддевку.

Софья Ивановна хотела было выразить ту мысль, что человек не может остаться навек таким же, каким родился, но Яков Савельевич перебил ее вопросом:

— Николай Матвеевич у себя?

И, не дожидаясь ответа, пошел к нему в спальню.

— Кто же эта личность? — спросите вы. — Босьяк?

— Нет.

— Пьяница?

— Опять же нет... то есть, по крайней мере, не в буквальном смысле этого слова.

— Кто же?

Яков Савельевич Матвеев — кандидат физико-математических наук Московского университета.

Прошлого Якова Савельевича я знаю только

по слухам и по его рассказам. Отец его был наш недалёкий сосед, человек очень богатый, бывший когда-то предводителем елецкого дворянства. Следовательно, в детстве и молодости Якову Савельевичу не приходилось терпеть никаких лишений. «У нас, милый мой, — рассказывал он мне, — три гувернера было: я, брат, еще с десяти лет, как по-русски, говорил на английском и французском языке». И это правда... Впрочем, полным материальным благоденствием Якову Савельевичу пришлось пользоваться сравнительно недолго. Блестяще окончив курс Лазаревского института восточных языков, он поступил в университет и, кажется, в первые каникулы страшно поссорился с отцом: отец хотел наказать его головомойкой за какой-то кутеж, но, по характеру Якова Савельевича, из этого вышла страшная катавасия. Отец сгоряча крикнул, чтобы сын убирался на все четыре стороны («чтобы ноги твоей у меня до гробовой доски не было»), и сын в точности исполнил это. Он в тот же день уехал в Москву.

Отец через несколько месяцев написал ему, прося забыть ссору, и даже прислал де-

нег. Яков Савельевич даже не ответил на это письмо.

Окончивши курс, он не захотел кланяться и просить какого-либо большого места и поступил учителем в какой-то пансион. Не знаю, по каким причинам, но только он удержался там надолго — прослужил около двадцати лет. Правда, служил он, как рассказывают, не особенно усердно: с ранней молодости он страшно любил выпить, любил веселую компанию, в которой всегда слыл за человека взбалмошного и придиричивого, но в то же время — за первого остряка и анекдотиста: не трогай только!

Службу он бросил сейчас же, как только его известили, что старик на столе. Он приехал в деревню и узнал, что по завещанию отец оставил все своей дочери от садовницы.

«Ну, да не возьмет же она все одна», — подумал Яков Савельевич, но жестоко ошибся. Сестра даже от дому ему отказала. Яков Савельевич подумал-подумал, скрипнул зубами, плюнул и уехал в город. Там он пил, как говорится, без просыпу, почти месяц и, спустивши последние рубли, вернулся в родные ме-

ста.

Жизнь его с тех пор изменилась резко.

Сначала Яков Савельевич стал гостить по соседям, надеясь впоследствии куда-нибудь пристроиться. На первых порах его, как нового человека, принимали с удовольствием. Прудковских помещиков главным образом привлекал его неистощимый запас анекдотов и мастерская передача их. Но затем Яков Савельевич устроил несколько скандалов, заметив», что его начали принимать только как шута и анекдотиста, и от него стали запираяться.

Яков Савельевич поселился у нас в качестве моего учителя. Тут я отлично вызнал его характер, привычки и странности. Бывало, я по целым часам наблюдал за ним, как он, по своему обыкновению, ходит по комнате из угла в угол и жжет папироску за папироской, или проще — сигарки махорки.

— Яков Савельевич? — спрошу я. — Зачем вы этот черный табак курите?

— Я привык, — ответит он отрывисто, даже сердито и опять зашагает.

Однако всем было понятно, что тут играет

роль не привычка: Яков Савельевич вечно боялся, что его держат из сожаления, и сокращал свои потребности до минимума.

Например, бывали такие сцены.

Придет купец с красным товаром. Отец приходит к нам и класс и предлагает Якову Савельевичу купить что-нибудь. До тех пор мирно прохаживавший Яков Савельевич словно взбесится.

— Про какие рубашки вы толкуете? — вскрикивает он сердито. — На что мне рубашки? На бал, что ли, я собираюсь? Из-за чего вы хлопчете?

— Да ведь у вас одна рубашка.

Яков Савельевич вздергивает плечами, плюет и продолжает ходьбу.

Спал Яков Савельевич в кухне, на печке... Словом, не отказывал он себе только в выпивке. Подвыпивши, он сначала становился весел, сыпал анекдотами, а потом придиричив. В конце концов, переругавшись со всеми, он уходил в наш класс» и чуть не до полночи ходил из угла в угол, энергично жестикулируя и разговаривая сам с собою. Но иногда дело кончалось более серьезно. Так, например,

один раз Яков Савельевич особенно крупно переговорил с отцом и в конце концов «вылетел» за крыльцо... Я, следивший эту историю из-за кустов палисадника, бросился к матери:

— Где Яков Савельевич?

— В амбаре заперся.

Я побежал в амбар. Дверь в него была отворена, и я еще издалека услышал, что Яков Савельевич в страшном возбуждении. Он бегал из угла в угол, размахивал руками, бормотал и иногда закатывался злорадным смехом. Платье его было в беспорядке, волосы растрепаны... Заметив меня, он подбежал к двери и захлопнул ее.

Я воротился в дом, надеясь, что завтра все войдет в прежнюю колею. Но и назавтра Яков Савельевич не вышел из амбара. Присланный ему обед он воротил, не тронувши. На другой день это повторилось, на третий — тоже.

Я наконец решился пойти в амбар.

Яков Савельевич лежал на полу, подложив себе под голову сюртук.

— Что ж, — спросил я, — когда мы будем учиться?

— Как когда? — вскочил Яков Савельевич. — Да сегодня. Приноси сюда книги.

— А в доме?

— В дом я, мой милый, не пойду.

Я растерялся.

— Совсем?

— Совсем.

Я замолчал. Яков Савельевич сделал сигарку и долго курил, сильно затягиваясь. Потом отвернулся к стене и глухо проговорил:

— Принеси, пожалуйста... корочку хлеба... Чтобы не знали.

Эти слова ударили меня по сердцу: я машинально вышел из амбара, убежал в сад и долго ревел там. Потом, вспомнив, что Яков Савельевич уже три дня ничего не ел, бросился в дом, схватил чуть не полпуда хлеба и притащил в амбар. Яков Савельевич отломил только корочку и велел остальное снести обратно. Я все-таки оставил краюшку. Иначе Якову Савельевичу пришлось бы плохо: целых две недели он не выходил из амбара...

Но, несмотря на такие истории, Яков Савельевич прожил у нас несколько лет. За это время мы привязались друг к другу. С первых

дней он сумел расположить меня к себе. По вечерам он мне рассказывал события истории и, например, так заинтересовал крестовыми походами, что я было с ума сошел, мечтая сделаться рыцарем... Рисовал мне, читал стихотворения и т. д.

Заговорив про стихотворство, не могу не сказать, что у Якова Савельевича был несомненный поэтический талант. Но все это не развилось, погибло, и за последнее время Яков Савельевич писал только стихи на различные случаи прудковской жизни — драки, сплетни и т. д.

Потом я поступил в гимназию, и мы надолго расстались. Но глубокое, хотя и странное впечатление оставил в моей душе мой первый друг — Яков Савельевич. Еще дома я положительно не понимал его, но жалел самым искренним образом. Как я помню, эти темные, зимние ночи, когда, бывало, я сижу в кухне на печке и с замиранием сердца слушаю рассказы Якова Савельевича, или эти летние тихие вечера и у окна зала — Якова Савельевича, играющего на скрипке что-то невыразимо грустное!.. «О чем он думает?» —

спрашивал я себя, и детскому воображению рисовалось какое-то темное, безотрадное горе, которое Яков Савельевич таит от всех в душе.

— Знаешь, — сказал он мне раз, когда мы летним вечером шли по лугу, — хотелось бы мне уйти куда-то... от всех, навек...

— И от меня? — спросил я наивно.

— От всех... хоть я тебя и люблю одного на свете... Ты не думай, что я злой: я, брат, злой и добрый...

Он отвернулся и зашагал еще более неловко...

Часам к десяти ветреного ноябрьского дня, когда уже народ приехал из села от обедни и солнце успело отсырить колчеватые грязные дороги, положение вещей в усадьбе Капитона Николаевича было следующее:

Грязь от парадного крыльца отчищена и самое крыльцо застлано попонками, ибо было известно, что у многих из гостей, и в особенности у дьячковского сына, который придет с причтом служить молебен, на сапогах будет по полпуду грязи... Перед другим, чер-

ным, крыльцом, около которого к весне вырастали громадные кучи навоза и всякой гадости, откровенно выкидываемой и выливаемой из кухни и из дома, шумела целая стая индюков и уток, которым, по случаю праздника, была дарована свобода... Кухарка, которая, как я уже заметил, окрестила пастушонка «лупоглазым дьяволенком», утверждает, что эта свобода зависела отчасти от праздника и что Капитон Николаевич, приказывая выпустить индюков, преследовал тайную мысль — дать понятие гостям о количестве его домашней птицы, но... разве можно верить кухарке?

На кухню, пропитанную запахом поджаренного лука, ежеминутно прибегала измученная Софья Ивановна, чтобы лично удостовериться, все ли в печи благополучно, и ласково заговаривала с городским кучером Ивана Ивановича, который (то есть кучер), обладая рыжими подстриженными усами, сережкой в ухе, белыми глазами и медно-темной физиономией, хорошо понимал свои достоинства и, либерально поставив ногу кованым каблуком на скамейку, слегка «потрагивал»

на гармонье «чижика», а в душе глумился над деревенщиной — барыней и грязной кухаркой.

В доме по всем комнатам тоже стоял теплый запах пирогов, но уже все было убрано. В гостиной около круглого стола, как можно симметричнее, расставлены кресла в белым чехлах, в зале с громадного старого фортепиано снято все, не идущее к музыке, как, например, бутылки с наливкой, старые номера «Сына отечества», шапки, то есть именно то, что обыкновенно лежало на нем... Большой стол уже покрыт скатертью и установлен тарелками для закуски...

Сам Капитон Николаевич умылся, расчесал черные бакенбарды, надел новые брюки и мучился перед зеркалом с тем, что так часто угнетает жизнь образованного человека, именно — застегивал грудные запонки... Но когда запонки были побеждены и надет был сюртук, Капитона Николаевича никто бы не узнал: важно и солидно похаживая по комнате, он держал руки, что называется, «самоваром» и, как волк, не мог повернуть шеи от туго накрахмаленной рубашки. Но, в общем, он,

конечно, далеко не походил на волка, а скорее — на Скобелева, если только можно вообразить героя в столь простой обстановке и штатском сюртуке.

Дождаться гостей долго не пришлось. Едва Капитон Николаевич успел достать носовой платок и, развернувши, солидно положить в задний карман, как на дворе послышался лай собак. Капитон Николаевич вышел в кабинет, глянул в окно и увидел, что на двор въезжает помещица Марья Львовна Кубекова, старая дева, руина «старого доброго времени», сохранившая из всего прежнего только семьдесят две десятины, полуразрушенный громадный дом, девку Дашку, которая навеки осталась как бы крепостной, да непреоборимую любовь к десерту, в виде винных ягод и чернослива.

Помещица въезжала на двор в старинном рыдване, запряженном пегим мерином, который управлялся маленьким мальчишкой. Сама она... сама она представляла из себя главным образом голову, на которой было неисчислимое количество платков. Подъехав к крыльцу, она долго сидела в затруднении —

как слезать с экипажа? Капитон Николаевич поспешил на крыльцо и, благодаря своей могучей силе, легко справился с этой задачей. Охая и на ходу поздравляя с праздником, помещица вошла в переднюю и медленно начала снимать платок за платком. Когда же платки и салоп были сняты, Марья Львовна оказалась приземистой старухой с кадыком, с совиными глазами и серыми буклями, в старомодном шелковом платье и турецкой шали, которая от времени выцвела и пахла кошками...

— Ну, здравствуй, батюшка, — говорила она, отдуваясь, — уж и не чаяла к тебе доехать... Бог свидетель! Подлец Гришка совсем было меня вывалил на горе... Бог свидетель!

Капитон Николаевич сочувственно покачал головою.

— Убил бы, разбойник, — продолжала Марья Львовна, — бог свидетель, ушиб бы насмерть! Нас так-то раз подхватили лошади... ехали мы с тетушкой Олимпиадой Платоновной... четверня была уж известно какая — львы лошади!.. Да спасибо, у меня был тогда кучеренок Васька... на полгоры соскочил да повис на дышле... Бог свидетель.

— Да-а! — сказал на это Капитон Николаевич и потом прибавил:— Как ваше здоровье, Марья Львовна?

— Жива-с, — скорбно ответила старуха, — только ноги ломит... Вот в валенках приехала... Декокт ничего не помогает, бог свидетель... А Тонечка у себя?

— Мамаша? У себя, пожалуйста, — ответил Капитон Николаевич и повел ее к Антонине Максимовне, которая, причесанная, умытая, в праздничном наряде, спала, сидя на кресле в своей комнате.

Тотчас же после Марьи Львовны стали собираться гости. Приехал брат Софьи Ивановны Уля, или Ульян Иванович, помещик сорока восьми десятин, холостяк, но лелеявший заветную мечту об невесте с приданым. Приехал он на дрожках, но в немецком платье. Немецкое платье... или лучше сперва — сам Уля представлял из себя человека лет двадцати пяти — двадцати восьми, небольшого роста, на коротких, толстых ногах, похожих отчасти не на ноги, а на лапы тюленя, с брюшком и с круглой стриженной головой; лицо его,

полное и цветущее, с глазами крупного осетра, по обыкновению, немного улыбалось, жирные ручки одергивали сюртук, потому что последний сидел ризой, то есть сзади воротник оттопыривался и взлезал на затылок; этому, конечно, способствовал как самый фасон сюртука, так и странный ворот грязно накрахмаленной рубашки, походившей на жабо времени Директории; брюки с вытянутыми коленками сидели с одной точки зрения прекрасно, а с другой — неудобно, именно — в обтяжку, как трико. Виной тому была чрезмерная полнота ног, а ниже колен — дудки сапог, которые, по случаю праздника, изображали из себя штiblеты, то есть были спрятаны под брюки...

Пока Уля раздевался и, весело погоготывая, рассказывал, как он ехал на дрожках с гитарою, в переднюю вошел еще помещик, Нил Лукьянович Бебутов, — отставной улан, проживший громадное имение в известных историях и теперь живший на хлебах у дочери, которая была замужем за богатым купцом-мельником. Это был старик с военной выправкой, сизым носом и уже с седыми во-

лосами, которые он старался, по старой памяти, взбивать коком. У него тряслась голова, но он держался еще гордо, петухом.

— А я, знаете, пешком пришел, — говорил он отчетливо и как бы немного заикаясь, — у меня катар... моцион полезен.

— Имею честь поздравить, — перебил его, входя в переднюю, батюшка. Он был очень пожилой старичок, но всегда ужасно торопился.

Дьякон, огромный мужчина, с лицом цвета серого известкового камня, с реденькой бородкой и с глазами, выражающими вечное недоумение, только шумно откашлялся, поклонился, но, как человек страшно конфузливый, даже не мог ничего выговорить.

За ними показался остальной причт, состоящий из подростков и, к несчастью, почти весь принадлежавший дьякону, и, наконец, дьячок, в тулупе и в громадной шапке, очень схожий с туркменом.

Капитон Николаевич со всеми очень ласково здоровался, даже либерально потряс руку дьячку и приглашал в кабинет.

— Нет, нет, уж извините — мне некогда...

позвольте приступить, — заторопился батюшка и на все возражения Капитона Николаевича остался непреклонен.

Капитон Николаевич бросился в задние комнаты.

— Софья Ивановна! — заговорил он шепотом, застигнув ее в девичьей за счетом присланной посуды. — Вели будить Ивана Ивановича да зови Марью Львовну, в залу на молебен.

— Да куда ж я такая пойду? — гневно возразила Софья Ивановна, указывая на свой засаленный фартук.

— Ну, да как же быть-то?

— А мне-то что ж — разорваться прикажете?

Голоса супругов переходили уже в звенящий, гневный шепот, но праздничное настроение не дало дойти делу до ссоры. Софья Ивановна бросилась одеваться.

После молебна мужчины отправились в кабинет. Батюшка поспешил домой, но дьякон, несмотря на конфузливость, остался и очень чинно уселся в кабинете около двери.

Дьячок покашливал в передней, а подростки были отправлены на кухню для кормления. Капитон Николаевич, отдав последние приказания насчет закуски, вошел в кабинет и извинился перед гостями, что Николай Матвеевич нездоров и не может выйти. Затем он сел на диван, достал портсигар и угостил всех папиросами.

— Ну уж и ехал же я! — весело начал Уля.

— Виноват, — перебил Капитон Николаевич, — что же ты своих-то не захватил?

— Сестриц-то родимых? Сейчас приедут, — возразил Уля, — куда ж бы их насажал с собой на дрожки? Я и сам-то с гитарою и с гармонией сидел, как...

За ненахождением подходящей остроты Уля закатился смехом. Дьякон счел за нужное тоже улыбнуться. Нил Лукьянович молча пускал дым через седые усы. Капитон Николаевич придумывал, какой бы завязать разговор поинтересней. «Эх, — подумал он, — и чего это Иван Иванович дрыхнет? Он бы сразу завел разговор», — и сказал вслух:

— Иван Иванович-то уж здесь.

— Где же он? — встрепенулись все.

— Спит, — представьте себе!

— Да что же это он? Рано приехал, что ли?

— Еще ночью, — сказал Капитон Николаевич.

Все усмехнулись и смолкли. Говорить было решительно не о чем, как это ни странно может показаться читателю. Дело в том, что прудковские помещики, несмотря на то что живут друг от друга, что называется, в двух шагах, никогда почти не бывают у соседей в обыкновенное время. Понятно, что общие интересы, которых и так немного, совсем теряются.

Дьякон огляделся и твердо решился начать разговор.

— Каково это? — сказал он. — Знаменье, можно сказать, на дворе, а между тем еще совсем весна... Бывало, в эту пору...

— В самом деле, — подхватил Капитон Николаевич, — странная погода: у меня уже пшеница начинает вымерзать...

— А позвольте спросить, — продолжал дьякон, — сколько вы изволили в нынешнем году сеять?

— Немного, — небрежно ответил Капитон

Николаевич, — десятин восемьдесят.

— Однако! — изумился дьякон.

— Что ж ему! — вмешался Уля, — живет... паном!

Капитон Николаевич скромно стал рассматривать папиросу и сильно затягиваться.

— А вот, в бытность мою на Кавказе, — начал вдруг Нил Лукьянович, — я в декабре еще цветочки рвал.

Дьякон и тут нашелся.

— Да, — сказал он, — в южных странах совсем не то.

— В Севастополе, — подхватил весело Уля, — небось теперь еще пыль в городе.

При воспоминании о Кавказе Нил Лукьянович, по обыкновению, захотел рассказать что-нибудь про графа Муравьева и только обдумывал, как бы получше свести разговор на него, а потом уже перейти к анекдотам из жизни разных главнокомандующих — эти анекдоты он ужасно любил. Он столько знал их и читал, что почти разучился иначе начинать свою речь, как не «в бытность свою» и т. д.

Дьякон тоже горел нетерпением расска-

зять что-нибудь, но решительно не мог ничего придумать.

— А вот со мной раз, — начал он нерешительно, — был случай такого рода...

— Постой! — закричал Уля. — Ведь я стихи Яков Савелича привез.

— Про что стихи? — в один голос спросили и дьякон и улан.

— А вот слушайте. Слышали, что недавно у Николая Ивановича мужики ветчину украли? Ну, так стихи называются «Ветчинный допрос». Урядник «хорошо» допрашивал, — пояснил он.

Все приготовились слушать, заранее улыбаясь. Уля вынул несколько исписанных листков из кармана и подал знак к молчанию.

— «Ветчинный допрос», — начал он громко.

Все опять улыбнулись.

Власти все давно уж в сборе, —

продолжал Уля, сдерживая улыбку, —

*Суд начнется, значит, вскоре;
Сам урядник правил суд,
Двое старост было тут,
Понятых трех пригласили,
А чтоб власти опросили
По порядку и по чину
И чтоб выяснить причину
Злодеяний столь негодных,
Двух синьоров благородных
Пригласили на дознание...
Началось заседанье!*

— Скандировано прекрасно! — сказал дья-
кон.

— Ну, слушайте, слушайте:

*Протянул урядник ноги,
Ус рукою закрутил
И к стоящим на пороге
С речью грозной приступил:
«Ведь вы знаете, канальство,
Что я высшее начальство!..»*

При этих словах все покатались со смеху.

Но вдруг на дворе загамели собаки и послышался звон колокольчиков. Все бросились к окну.

— Алексей Михайлович... Коротаев... — забормотал Капитон Николаевич и опрометью бросился на крыльцо встречать настоящего помещика.

Коротаев был действительно «настоящий» помещик, то есть постольку, поскольку очень многие из елецких немелкопоместных могут считаться людьми с состоянием. У него было около шестисот десятин, небольшой крахмальный завод, но была и кипа извещений от дворянского банка, в которых очень вежливо, но и очень внушительно напоминалось, что срок процентам тогда-то. Такие извещения всегда влекли за собой поездки к «скотине» Обухову, и поездки эти были «крайне неприятны»... Согласитесь, господа, что неприятно же человеку с гербом («турухтан на синем поле»), человеку, «к во-ро-там которого это животное прежде не посмело бы в шапке подъехать», бывшему гусару, образованному господину, играющему в любительских спектак-

лях, — ехать к Обухову и несколько часов крайне неестественно держаться... да, неестественно — как же иначе? Ведь неловко, черт возьми!

Приедешь к нему, к этому Обухову, — дома нет, на «футорь» поехал. Нечего делать — извольте дожидаться! Наконец приезжает.

— А, Алексею Михайловичу! Почтение («ласков, скотина!»).

— Здравствуйте, Вукол Матвеевич. («Матвеевич!» как это вам нравится!) Дело есть («без обиняков стараешься приступить»).

— Дельце-с? Что ж, слава богу! Без делов жить — в опорках быть!

— Мне, видите ли, любезный, товарищ должен («соврешь поневоле») несколько тысяч и до сих пор не возвращает. Я ему пишу, что мне самому крайне... то есть не крайне, но, во всяком случае, нужны деньги... то есть теперь нужны (весной я бы его и не стал беспокоить, — у меня будет до пятнадцати тысяч), а он гырт, что сейчас не может.

— Не может? А-а, как же так можно! Нехорошо, не но товарищески... («Как будто слушает, верит и сочувствует»).

— Ну да, конечно... Так что вот я по пути... завернул к вам... не знаете ли, где достать?

Обухов делает вид, что задумывается.

— Достать? Достать, миленький, трудно... По нынешним временам...

— Ну, полно, полно, Вукол Матвеевич («по-неволе, знаете, приходится допускать фамильярности»).

Обухов вздыхает.

— Ничего не поделаешь, миленький.

— Да вы... может быть, сами дали бы... Мне ведь, собственно, не нужны... но, во всяком случае... (чтобы скрыть неловкость, приходится блуждать глазами по потолку, затыгиваться папироской и качать ногой).

— Я? — изумляется Обухов. — Какие же у меня деньги?

— Да ну, полоно, полно. Ведь можно?

— Нет, — отвечает с глубоким вздохом Обухов, — нельзя... нельзя, миленький.

— Нельзя на небо влезть, — говорит ваша умная купеческая пословица.

— На небо-то на небо, а денег-то достать трудно... Ох, как трудно по нынешним временам...

— Будто бы трудно?

— Трудно, миленький!..

В конце концов «скотина» дает, но ведь «это мучение»!..

...Таким образом, de facto Коротаев был очень мелкопоместный, но по типу вовсе не принадлежал к такому разряду помещиков...

Поэтому и к Капитону Николаевичу он попал случайно. Он помнил, что этот Шахов звал его, усиленно звал на Знаменье, и, проснувшись в этот день, невольно вспомнил его. «Проветриться, что ли? — подумал Коротаев, сидя у себя в кабинете. — Кстати, куплю у него партию картофеля — он, вероятно, в долг даст».

Результатом таких размышлений был крик:

— Иван!

Вошел лакей Иван.

— Позовите кучера Василья.

Явился Василий и стал у двери. Барин покачивался в качалке.

— Сегодня я выезжаю, Василий.

— Слушаю-с.

— Ты со мной поедешь.

— Слушаю-с.

Барин улыбнулся.

— Что это у тебя, Василий, за солдатская привычка: «слушаю-с», — сказал он ласково, как многие из помещиков говорят с кучерами.

Василий растянул рот до ушей в подлую улыбку.

— Каких же запрягать прикажете, Алексей Михалыч?

— Запрягать-то? Я думаю, Василий, — Машиновского в корень... ну... Красавчика на правую пристяжку...

— На правую его не годится, Алексей Михалыч.

— Не годится?

Барин в раздумье поднял брови.

— Ты говоришь, Красавчика не годится? Что так?

— Жметса он, Алексей Михалыч, к оглобле. Как запряг справа — жметса, бог с ним, да и только.

— Жметса, ты говоришь? Ну, так запряжешь направо... ну хоть Киргиза. Ведь Киргиз не жметса.

— Боже сохрани! Киргиз — лошадка умная...

— «Боже сохрани»! Ха-ха!.. А знаешь что, Василий? Не лучше ли нам парюю?

— Тройкой, Алексей Михалыч, форменной.

— «Форменной»! Ну, как знаешь.

— Слушаю-с.

Алексей Михалыч затянулся папироской, тихонько замурлыкал: «Si vous n'avez rien a mi dire»[3], — и, поглядывая на конец уса, сказал:

— Ну, так так-то...

— Колокольчики прикажете?

— Твое дело, Василий...

Василий опять осклабился и тихонько вышел.

Боже мой, какой переполох в доме произвел приезд Алексея Михайловича! Из девичьей ринулась Катерина, сгребла в объятия все убогие шубы и шапки гостей и, рискуя рухнуть в коридоре от удара, переволокла их в девичью и бросила на полу; Софья Ивановна тоже бросилась в спальню, к комоду, выдернула ящик, схватила все лучшие салфетки, прибежала в зал, посхватала все ста-

рые и моментально разбросала новые на их места, сшвырнула с фортепьяно кошку, так что та, треснувшись об пол, несколько минут сидела как остолененая... Затем опять бросилась в переднюю и велела достать из погреба коньяк и маринованную осетрину... В кабинете тоже все повстали с мест и заговорили разом.

— Это Коротаяев? — бормотал Уля. — Он, говорят, богатый!

— Коротаяев? — быстро спрашивал улан. — Не Якова Семеновича сын?

— Троечка-то какова! — повторял дьякон.

Василий, которому был отдан приказ «оставить холопскую привычку подносить во весь карьер к крыльцу», въезжал во двор медленно и, сдерживая пристяжных, вычурно покрикивал:

— Ше-елишь! Баловай! [4]

Капитон Николаевич сбежал с крыльца и, почему-то поспешно расправляя бакенбарды, несколько раз поклонился и радушно сказал:

— Милости просим! милости просим!

Коротаяев сдержанно поклонился, сдержанно сказал: «Поздравляю», — и пошел в дом.

Когда он стал раздеваться, остальные гости вышли из кабинета и остановились около него.

— Простите, пожалуйста, — закартавил Коротаев, — я, знаете, еду в Елец по делу... так что костюм у меня дорожный.

— Помилуйте! — воскликнул Капитон Николаевич.

— Вот глупости какие! — восторженно подхватил Уля, — мы церемоний не любим...

— Сущие-с пустяки... — начал было дьякон, но покраснел и откашлялся.

Один Бебутов стоял гордо и, покачивая голову, смотрел равнодушно.

Коротаев слегка поклонился всем и вошел в кабинет. Все уселись и замерли как будто в ожидании чего-то. Коротаев оглянулся, едва не рассмеялся и поспешил опять заметить, что он едет в Елец и что костюм на нем дорожный.

Но дорожного в его костюме было мало. На нем были лаковые сапоги, синие шаровары и синяя тужурка с сборками на талии. И костюм этот, должен я сознаться, был очень недурен на нем. Конечно, на Уле он сидел бы

не так красиво, но Коротаев был далеко не Уля. Это был плотный, хорошо сложенный мужчина — «одно из славных русских лиц».

Лицо немного полное, упитанное; черты лица правильные, бородка à la Буланже и губки сердечком. Прибавьте к этому нежные, белые руки и перстень с крупной бирюзой на правом мизинце — и вы поймете, почему Коротаев еще до сих пор производит в любителейских спектаклях неотразимое впечатление, которому еще способствовало то, что держал он себя относительно барышень довольно равнодушно. Видно было, что это — мужчина, успокоившийся в сознании своей красоты и безусловной порядочности.

При всем своем желании держаться у Капитона Николаевича попроще, он не мог не фатить, конечно, сдержанно, невольно, фатить только потому, что «привычка — вторая натура».

Он заговорил... и заговорил очень недурно. Коснулся деревенской скуки, упомянул, что озимые плохи и что на земском заседании он думает поставить это на вид, свел разговор на охоту и... слегка зевнул. Потом левой рукой,

двумя пальчиками, достал портсигар из бокового кармана, постучал об этот портсигар папиросой, закурил, слегка помахал спичкой и деликатно бросил в пепельницу.

В это время передняя сразу наполнилась смехом и шумом. Приехали с матерью две сестрицы Ульяна Ивановича, еще одна девица, которую Яков Савельевич звал «шавочкою», и два соседа-помещика — Савич, худой и серьезный старик, с седыми, короткими волосами, обладатель сорока пяти десятин, и Баскаков, молодой неглупый человек, очень деловитый хозяин, одетый как железнодорожный рабочий.

Барышни явились очень веселою компаниею, но, глянув в кабинет и увидев там какого-то незнакомого господина, не раздеваясь, на цыпочках прошмыгнули на половину Софьи Ивановны. Старуха, их мать, очень любопытно заглянула в кабинет и тоже сочла за лучшее ретироваться к Софье Ивановне.

Едва успел Капитон Николаевич познакомиться Савича и Баскакова с Коротаевым, вошел еще помещик, Телегин, громадный мужчина, в поддевке, длинных сапогах, с кинжа-

лом на поясе.

— А я с охоты, — заговорил он, входя в кабинет и не обращая внимания на Коротаева, — затравить ничего не затравил, но подрался.

— Как подрался? — воскликнул Капитон Николаевич.

— Очень просто... за милую душу... Да как же, еду я по зеленым, смотрю — староста Лопатинский едет навстречу. «По какому такому праву по зеленым? Барин велели ловить!» Каково? Ловить. Как сгреб я его — до земли не допускал!

— Ха-ха! — закатился Уля. — У тебя, брат, мертвая хватка.

— Да уж, брат, сгребу, так не вырвешься.

— Ну, не всякого! — раздался вдруг голос Ивана Ивановича. — Вот попробуй-ка, сгреби меня!.. Здравствуй, — заключил он, понижая голос, потому что Капитон Николаевич показал ему глазами на Коротаева.

Иван Иванович непринужденно расшаркался с последним и вдруг брякнул:

— Жомини да Жомини, а об водке ни полслова. Капитон! Вели-ка давать пирог!

— Пожалуйте, господа! — там уже готово, — скромно сказал Капитон Николаевич. — Чем бог послал...

Все встали и шумно двинулись в залу. Коротаяев тоже пошел.

Но — увы! — за закуской произошло... «черт знает что»!..

Когда мужчины вошли в залу, там уже были — Марья Львовна, мать Ули, дряблая старуха, с смирением старой сплетницы на лице и удивительною глупостью в пристальном взгляде, барышни Коноплянниковы с завитыми головами, «шавочка» и около них Софья Ивановна, которая рассказывала им, что у нее, «бог знает с чего, раскинулись вереда на левой ноге» и что лавочник советует собрать по листу всех деревьев, отварить их и выкупаться... (Читатель, конечно, подумал сейчас, что я, говоря про такие гадости, пересаливаю. Но смею его уверить, что прудковские барыни — народ далеко не «тонный».)

Не стану описывать, как неловко вышла сцена знакомства дам с Коротаяевым, как шушукались и хохотали барышни, стараясь ка-

заться развязными, как все столпились у стола с тарелками и ждали очереди навалить на них пирога, делая при этом совсем рассеянный вид, словно их и не интересовала закуска; не стану описывать, как морщился Коротаяев, когда началось обычное в Прудках угощение, то есть неотвязчивое приставање «выпить», чуть не подтаскивание под руку к столу и т. д. Начну с того момента, когда в залу вошел уже несколько выпивший Яков Савельевич. Вошел он, очень благодушно пощипывая усики, и неловко поклонился всей компании.

— А вот и наш «ученый муж»! — воскликнул в это время Уля, который любил иногда поострить.

Яков Савельевич глянул на него и ничего не сказал. Он налил себе рюмку водки и потянулся взять кусок селедки. Но по близорукости низко наклонился над столом, повалил бутылку портвейна, хотел ее подхватить и уронил на пол коробку сардин.

— Медвежья ловкость! — крикнул Уля и бросился поднимать.

Иван Иванович покатился со смеху.

— Стара стала — слаба стала! — воскликнул он весело.

Коротаев улыбнулся, и все, увидев это, тоже прыснули со смеху.

Яков Савельевич вдруг швырнул рюмку на стол и остановился, глядя недоумевающими глазами.

— Ну, — сказал он, — и прежде я вас знал за скотов, но этого все-таки не ожидал.

— Яков Савельевич, — сказал, поднимаясь, Капитон Николаевич, — прошу вас не ругаться. Вы не в кабаке. Извините, пожалуйста, — обратился он к Коротаеву.

— Что? не в кабаке? — завопил Яков Савельевич, бледнея. — Как не в кабаке? Это, я вижу, вы вот перед ним хотите себя показать джентльменами (он кивнул на Коротаева), — так он, вероятно, слышал про вас...

— Pardon, — возразил Коротаев, — я ничего дурного не слышал.

Яков Савельевич развел руками.

— Vous êtes un noble et généreux coeur![5] — сказал он насмешливо, — но позвольте не поверить...

— Яков Савельевич! — начал опять Капи-

тон Николаевич.

— Почему же? — перебил Коротаев.

— А вот-с почему, — злорадно возразил Яков Савельевич. — Вам угодно выслушать меня?

Яков Савельевич совсем обозлился и подошел вплотную к Коротаеву.

— Пожалуйста! — сказал тот.

— Позвольте вас спросить, — начал Яков Савельевич насмешливо-торжественным тоном, — неужели вы не замечаете среди этой честной компании вот этого бульдога (он показал на Ивана Ивановича), неужели в Ельце вы не слыхали ни разу от извозчиков, что вот, мол, нынче ночью в известном «институте» Иван Иванович с каким-нибудь шалопаем танцевали кадрили, затеяли драку пивными бутылками, перебили все окна и т. д. ? Неужели, my dear sir[6], это не кабацкая личность? Ну те-с?

Яков Савельевич совсем нагнулся к лицу Коротаева, глаза у него бегали, руки беспорядочно размахивались.

Иван Иванович, Уля и Капитон Николаевич окружили Якова Савельевича.

— Ну-ка, молодой человек! Нельзя ли вас попросить прогуляться? — сказал Иван Иванович, хватая разгорячившегося Якова Савельевича за руку.

— Навынос его! — твердил Уля, захлебываясь от какого-то злобного восторга и в то же время замирая от страха получить в физиономию.

— Яков Савельевич! — вежливо упрашивал Капитон Николаевич.

— Господа, позвольте! — громко сказал Коротаяев. — Это невозможная сцена!.. Успокойтесь, пожалуйста, — мягко сказал он Якову Савельевичу.

Это успокоение странно подействовало на последнего; он посмотрел на всех и вдруг сказал совершенно спокойно:

— Как вам нравится такая сцена? Но я спокоен-с...

Он помолчал и прибавил:

— Только я dokonчу! Я не буду ругаться. Многоуважаемый Капитон Николаевич! Низжайше прошу вас об одном: позвольте сказать маленькую речь. Может быть, она вам будет обидна, но... дослушайте... а тогда по-

ступайте, как вам будет приятнее...

— Он немного тронут, — шепнул Коротаев Капитону Николаевичу.

Это всех успокоило. Капитон Николаевич улыбнулся и сказал:

— Извольте-с!

— Интересно послушать, — прибавил Уля.

— Понимаю! — сказал Яков Савельевич, — теперь вы уже приготовились как бы «комедь» смотреть. Хорошо-с... это и понятно...

Хмель его начал одолевать. Глаза его потухли, и он уже говорил как во сне:

— Это и понятно... Вы все неучи.

— Конечно! Еще бы! — подхватил Уля насмешливо.

— Да, неучи. Вот господин Баскаков: он вышел из третьего класса гимназии... и только... Но он еще лучше вас: это — обыкновенный, простой степной землевладелец, загрубевший в бедности... Затем, Ульянов Иванович: этот кончил курс, но, благодаря опять-таки бедности... и глупости феноменальной, навек остался на своем хуторе, отупел, омужичился... Ведь ты дома из полушубка не вылезешь, смалишь махорку и целую зиму ограни-

чиваешь свои экскурсии прогулками до гумна... и только!.. Остумел, повторяю, до того, что даже календаря Гатцука не видал в глаза пять лет... Ну, про этих девчонок — и говорить нечего... Эти и читать едва умеют... Всех вас засосало это болото и роковая цифра вашего землевладения — сорок восемь десятин... И празднества-то ваши заключаются только в обжорстве и пьянстве...

Все улыбались и молчали. Яков Савельевич посмотрел на всех сонным взглядом и вдруг, круто повернувшись, зашагал вон.

— Каков гусь? — воскликнул Уля.

— Странный старичок, — сказал Коротаяев и подумал: «А ведь он правду говорил... Роковая цифра: сорок восемь!..»

Через полчаса он уехал, несмотря на мольбы хозяина и остальных гостей.

День прошел, по обыкновению, за едою. Когда же обед и чай были кончены и зажгли огни, на столе опять появилась закуска. Улан, Баскаков, дьякон и немного охмелевший хозяин «молотили пульку», или, проще сказать, играли в преферанс в гостинной. Три барышни

ходили под руку по залу и без умолку хохотали, потому что приехавший новый кавалер, сыночек богатого купца-помещика Котлова, ходил перед ними задом и нес самую невозможную чепуху.

Он был выпивши и потому ломался, разводил руками и говорил:

— Не-эт-с, позвольте! Смех тут ни при чем. Такие миленькие барышни и вдруг — ха-ха!.. А все Лидия Ивановна... все она!.. От нее все козни... Ну, погодите, приезжайте вы к нам... Я вас...

Он подумал и вдруг брякнул:

— Я вас... в арепьи[7] закатаю!

И, что называется, умер со смеху...

В кабинете раздавался неистовый хохот Ули и Телегина, который был уже совсем пьян и лежал без поддевки; Иван Иванович рассказывал им новые анекдоты самого скабрязного содержания.

Наконец купеческий сыночек организовал кадрили. Из кабинета появился Уля с гитарой и Телегин с «гармоньей». Иван Иванович и организатор были визави.

— «Чижик, чижик, где ты был?..» — начал

басом Телегин и бойко заиграл «первую фигуру».

Уля притоптывал ногой, покачивался, щипал струны, гитара звенела в лад с гармоникой... Танцы начались. Иван Иванович скользил на своих лыжах-штиблетах, ухарски вертел даму, купеческий сынок неистово топал...

— Вторую! — заорал наконец Иван Иванович.

— «И шумит, и гудит», — хватили музыканты.

Et tonat!
Et sonat!
Et fluvium coelum dat![8] —

подпевал из гостиной дьякон...

— На пятую — «барыню»! — орет Иван Иванович.

Музыканты сразу перешли на лихую «барыню»:

Ах, дяденька!
Люби тетеньку!

*Она ходит-семенит,
Колокольчиком звенит!*

И под забористый речитатив зал «заходил ходором» от бешеной «пятой фигуры». Иван Иванович, закинув голову назад, как коренник в тройке, несется на купеческого сынка, тот плывет в сторону, гулко дробит по полу сапогами, взвизгивает фальцетом:

*Ах, чайнички,
Самоварнички!
Полюбили молодую
Целовальнички!
Ох-ох-ох-ох!*

— Делай! ощипись! — вскрикивает вдруг Капитон Николаевич, выскакивая из гостиной с гитарой в руках и с закинутой назад головой...

*Ах, бырыня буки-бу!
Будто я тебя трясу?
Тебя черти трясут,
На меня славу кладут!*

Наконец все стихло. Все были в поту, все тяжело отдувались...

— Господа, петъ, петъ становитесь, — приглашал Уля.

Все столпились в кучу.

Я вечер в лужках гуля-яла!.. —

затянул он, делая рот ижицей.

Грусть хотела разогнать! —

подхватил Иван Иванович басом.

Вдруг около поющих появился Яков Савельевич. Он, как страстный любитель пения, не стерпел и явился в залу. Утренняя сцена была забыта; она была уже не первая...

— А, вот и дирижер! — раздались возгласы.

Яков Савельевич сейчас же отодвинул Улю, взял гитару и начал «дирижировать», то есть размахивать в такт рукою.

Но вдруг он обернулся: Иван Иванович, стоявший сзади, скорчил гримасу и сделал

над его головой рожки... Все так и грянули дружным смехом.

Но в тот же момент Яков Савельевич схватил гитару за гриф и взмахнул ею в воздухе... Она мелькнула и с треском рухнула на голову Ивана Ивановича...

...Через минуту Яков Савельевич был взят «навынос», и весь дом очутился около Ивана Ивановича, примачивая ему голову уксусом и холодными компрессами.

1891

Комментарии

Газ. «Орловский вестник», 1891, № 285, 317, 326, 331, 335, 340, 27 октября, 29 ноября, 8, 13, 17 и 22 декабря. Печатается по тексту газеты.

Бунин писал В. В. Пащенко 5 января 1892 г.: «Юлий сказал, что общий отзыв его полтавских приятелей о моих „Мелкопоместных“ — очень хороший: хоть и очень отрывочно, но в то же время местами (и даже очень часто) заметна большая наблюдательность, ум, остроумие и изобразительность... Думаю... переработать их (то есть „Мелкопоместных“), расширить и издать отдельной книжечкой... конечно, отбросив кое-что чересчур местное и личное» (ИМЛИ). Намерение свое писатель не выполнил.

Прототипом Якова Савельича Матвеева послужил гувернер Бунина, о котором позже он писал: «Воспитателем моим был престранный человек — сын предводителя дворянства, учившийся в Лазаревском институте восточных языков, одно время бывший преподавателем... но затем... превратившийся в

скитальца по деревням и усадьбам... Он немало нагладелся, бродя по свету, и был довольно начитан... играл на скрипке, рисовал акварелью... писал стихи» («Автобиографическая заметка»). В письме к А. А. Коринфскому Бунин называет имя гувернера: Н. О. Ромашков (Проблемы реализма и художественной правды, вып. 1. Львов, 1961, с. 166).

Примечания

За зайцами (Прим. И.А. Бунина.)

[^^^]

Туда, туда (нем.).

[^^^]

3

Если вам нечего мне сказать (*фр.*)

[^^^]

4

От слова баловаться. (*Примеч. И. А. Бунина.*)

[^^^]

5

У вас благородное и щедрое сердце! (*фр.*)

[^^^]

6

мой дорогой господин (*англ.*)

[^^^]

Репьи, репейник (*Примеч. И. А. Бунина*)

[^^^]

8

И гремит! И звенит! И разверзаются небеса! (
лат.)

[^^^]